

Last (8th) Concerto of A. Ziloti (January 26). Soloists: A. I. Ziloti and I. V. Ershov. Beautifully, simply, with great taste, the poetic concerto by Grieg (orchestra cond. S. Rachmaninoff) and two Chopin etudes, usually played by the pianist on such occasions, were played as encores. The singer, who was out of voice, sang Borodin's gloomy "Sea," Mussorgsky's even gloomier "The Commander" (both with N. A. Rimsky-Korsakov's orchestrated accompaniment), and Brahms's short, condensed, but all the more expressive romance on the eternally old theme: she changes, and he weeps. Everything was sung with Ershov's characteristic nervousness and fervour of expression, and it had an effect on the audience. The orchestra (under the direction of A. I. Ziloti) played a solemnly cold, unremarkable in content, Handel's Overture (D major) at the beginning of the concert and Tchaikovsky's fiery "Romeo and Juliet" at the end. In the middle, S. Rachmaninoff, with the skill and composure of a true conductor-artist, conducted his new (2nd, E minor, op. 27, ms. copy) symphony. And this was a celebration for everyone, not only those who love Russian music, but also those who expect "the movement of water" in it. Those who listen exclusively with the "external" hearing, of course, would not fail to say that all this is from Tchaikovsky, from Wagner, and from someone else, because they are not accustomed to approaching a new work with anything other than the memory of their previous impressions, which with a light hand replaces the role of knowledge and understanding for them. But if they could at the same time feel and grasp that delightful freshness with which each page of the new symphony is imbued, and ask themselves where this caressing and invigorating impression of freshness came from in their memories, they would have only one truthful answer: this freshness is a sign that, despite the similarity or kinship of some external outlines with the style of Tchaikovsky and Wagner, the new symphony is, above all, its own, Rachmaninoff's, freely generating the inner world of a subtle and complete artist, independently thinking, feeling, experiencing. This is a student of Tchaikovsky, not Korsakov or Glazunov, this is Rachmaninoff, a new and already established figure in Russian art. This is an artist with a remarkable delicacy of conception, an aristocratic nobility of taste, a refined imagination that reaches the limits of Chopin's tenderness, and a natural predisposition to elegiac structure, in which a feeling of dreamy sadness merges with a strangely heightened fantasy, blossoming with sounds in which one hears something close and akin to the structure and imagery of Edgar Poe's lyrical stanzas. The tone "which makes the music" is always unique to Rachmaninoff, and his creative personality is marked by too many characteristic traits for the words "imitation" or "repetition of something else" to be suitable for a proper assessment of the new symphony. The latter is powerful both as a complete work and luxurious in its richness of detail. Its mature, artistic completeness of expression responds to feeling and inspiration. This completeness, its musical self-containment, and the effortlessness of its writing have repeatedly reminded us, especially in the nuances of its graceful, youthfully capricious character, of the incomparable elegance of writing that distinguished the lordly, elegant Glinka in similar episodes. We will not discuss the symphony in detail. To do so, hearing it once is not enough. The first and general impression: with its poetic mood and artistic brilliance it captures attention from beginning to end, and with a great variety of characters of expression, with a balance of contrasts, it combines elements of the charming and the tragically formidable, with the integrity with which, probably, a tender female torso

was combined with the tail of a monstrous snake in the image of the beautiful Melusine.
[Unsigned]

[Translation: Google]

Послѣдній (8-ой) концертъ А. Зилоти (26 января). Солисты: А. И. Зилоти и И. В. Ершовъ. Красиво, просто, съ большимъ вкусомъ сыгранъ поэтичный фи. концертъ Грига (ор-кестромъ дир. С. Рахманиновъ) и два, обычно играемые піанистомъ въ этихъ случаяхъ, этюда Шопена на *bis*. Пѣвецъ, бывший не въ го-лосѣ, спѣлъ мрачное «Море» Бородина, еще болѣе мрачнаго «Полководца» Мусоргскаго (оба съ оркестрованнымъ Н. А. Р.-Корсако-вымъ аккомпаниментомъ) и короткій, сжатый, но тѣмъ болѣе выразительный, романсъ Брамса на вѣчно старую тему: она измѣняетъ, а онъ рыдаетъ. Все было спѣто со свойственными Ершову нервностью и горячностью выраженія, подѣйствовало на аудиторію. Оркестръ (подъ упр. А. И. Зилоти) сыгралъ торжественно-холодную, не выдающуюся по содержанію, увертюру Генделя (*D-dur*) въ началѣ концерта и пламенную «Ромео и Джульетта» Чайковскаго въ концѣ. Въ серединѣ - С. Рахманиновъ, съ мастерствомъ и самообладаніемъ настоящаго капельмейстера-художника, продирижи-ровалъ свою новую (2-ую, *E-moll*, ор. 27, рукопись) симфонію. И это было праздникомъ для всѣхъ, не только любящихъ русскую му-зыку, но и чающихъ въ ней «движенія воды». Слушающіе исключительно «внѣшнимъ» слу-хомъ, конечно, не преминули бы сказать, что все это отъ Чайковскаго, отъ Вагнера и еще и еще отъ кого-нибудь, ибо ни съ чѣмъ инымъ, какъ съ воспоминаніемъ о своихъ прежнихъ впечатлѣніяхъ, которое на легкую руку замѣщаетъ у нихъ роль знанія и пони-манія, къ новому произведенію подходить не привыкли. Но если бы они могли при этомъ почувствовать и схватить ту прелестную свѣ-жесть, которою обвѣяна каждая страница новой симфоніи, и спросить себя, откуда же присоединилось къ ихъ воспоминаніямъ это ласкающее и бодрящее впечатлѣніе свѣжести, имъ представился бы лишь одинъ правдивый отвѣтъ: эта свѣжесть — признакъ, что, при сход-ствѣ или родствѣ нѣкоторыхъ внѣшнихъ очертаній съ почеркомъ Чайковскаго Вагнера, новая симфонія есть прежде всего свое, рахманиновское, свободно порожденное внутреннимъ міромъ тонкаго и цѣльнаго художника, самостоятельно думающаго, чувству-ющаго, переживающаго. Это ученикъ Чайковскаго, ни Корсакова или Глазунова, это-Рахманиновъ, лицо въ русскомъ искусствѣ новое и уже опредѣлившееся. Это-артистъ съ удивительной нѣжностью концепцій, съ аристократическимъ благородствомъ вкуса, съ утонченнымъ воображеніемъ, дохо-дящимъ до границъ Шопеновской болѣз-ненности, съ натуральной предрасположен-ностью къ элегическому строю, въ которомъ чувство мечтательной печали сливается странно обостренной фантастикой, расцвѣ-таетъ звуками, въ которыхъ слышится что-то близкое, и родное строю и образамъ лирическихъ строфъ Эдгара Поэ. Тонъ, «который дѣлаетъ музыку», у Рахманинова всегда свой, и творческая личность его отмѣчена слишкомъ характерными чертами, чтобы слова «подражательность» или «повтореніе чужого» могли годиться къ правильной оцѣнкѣ новой сим-фоніи. Послѣдняя сильна и какъ цѣльное произведеніе, и роскошна богатствомъ дета-лей. Чувству и вдохновенію отвѣчаетъ зрѣлая, художественная законченность выраженія. Эта законченность, музыкальная самоцѣльность и непринужденность письма, заставляла насъ не разъ вспоминать, особенно въ нюансахъ граціознаго, юношественно-капризнаго харак-тера

о той несравненной элегантности письма, которою въ эпизодахъ подобнаго же типа отличался барственно-изящный Глинка. Подробно о симфоніи говорить не будемъ. Для этого недостаточно слушать ее одинъ разъ. Первое и общее впечатлѣніе: своей поэтической настроенностью и художественнымъ блескомъ она захватываетъ вниманіе отъ начала до конца, и при большомъ разнообразіи характеровъ выраженія, при равновѣсіи контрастовъ, соединяетъ въ себѣ элементы прелестнаго и трагически-грознаго, съ тою цѣльностью, съ которою соединялся, вѣроятно, нѣжный женскій торсъ съ хвостомъ чудовищной змѣи въ образѣ прекрасной Мелюзины.